

Генри Джеймс

Поворот винта

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-312.4
ББК 84-4
Г34

Г34 **Генри Джеймс**
Поворот винта / Генри Джеймс – М.: Книга по Требованию, 2012. – 102 с.

ISBN 978-5-458-05718-9

Повесть "Поворот винта" стала своего рода "визитной карточкой" Джеймса-новеллиста и удостоилась многочисленных экранизаций. Оригинальная трактовка мотива встречи с призраками приблизила повесть к популярной в эпоху Джеймса парапсихологической проблематике. Перерастая "готический" сюжет, "Поворот винта" превратился в философский этюд о сложности мироустройства и парадоксах человеческого восприятия, а его автор вплотную приблизился к технике "потока сознания", получившей развитие в модернистской прозе. Эта таинственная повесть с привидениями столь же двусмысленна, как "Пиковая дама" Пушкина, "Песочный человек" Гофмана или "Падение дома Ашеров" Эдгара По. Обитателей усадьбы Блай преследуют кошмары; показания очевидцев субъективны, ни что прямо и, безусловно, не свидетельствует о том, кто именно является преступником. Может быть все происходящее розыгрыш или галлюцинации? В любом случае вы, сами того не замечая, становитесь участником "охоты на ведьм".

ISBN 978-5-458-05718-9

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Генри Джеймс
ПОВОРОТ ВИНТА
(Повесть)

Мы сидели перед камином и, затаив дыхание, слушали рассказчика, однако, помимо того что рассказ был страшный, как оно и предполагается в старом доме накануне рождества, помнится, никаких комментариев на этот счет не последовало, пока кто-то не обронил замечания, что он впервые слышит, чтобы такой призрак явился ребенку.¹ Упомяну, кстати, что речь шла о появлении призрака в точно таком же старом доме, в каком собрались мы. Маленькому мальчику, спавшему в одной комнате с матерью, явилось самое ужасное привидение; он разбудил мать — не для того чтобы она успокоила и снова убаюкала его, но чтобы она и сама, прежде чем успокоить ребенка, увидела то, что так его напугало. Как раз эти слова, не сейчас же, а позже вечером, вызвали у Дугласа реплику, на любопытное следствие которой я обращаю внимание читателя. Кто-то из нас рассказал еще одну, не слишком увлекательную историю, но, сколько я мог заметить, Дуглас ее не слушал. Судя по этому признаку, я решил, что ему самому хочется что-то рассказать, а слушателям остается только ждать, когда он начнет. И в самом деле, нам пришлось дожидаться всего два дня, но еще в тот же вечер, перед тем как мы разошлись по комнатам, он высказал то, что лежало у него на душе.

— Каков бы ни был призрак мистера Гриффина, я совершенно согласен, что в его появлении ребенку такого нежного возраста есть нечто странное. Насколько мне известно, это не первый случай подобного рода, когда в событии участвует ребенок. Если один ребенок дает действию новый поворот винта, то что вы скажете о двух детях?

— Мы, разумеется, скажем, что это дает винту два поворота! А кроме того то, что мы хотим о них послушать.

Как сейчас вижу Дугласа, стоящего перед камином; повернувшись к огню спиной и засунув руки в карманы, он глядел на собеседников сверху вниз.

— До сих пор никто не знает этой истории, кроме меня. Уж слишком она страшна.

Естественно, раздалось несколько голосов, утверждавших, что это-то и придает ей особенную цену, а наш друг, спокойно предвкушая свои триумф, обвел взглядом всех собравшихся и продолжал:

— Эту историю не с чем сравнивать. Я не знаю ничего страшнее.

— Неужели нет ничего страшнее? — помнится, спросил я.

Казалось, ему не так просто было ответить: он, видимо, затруднялся дать более точное определение. Проведя рукой по глазам, он слегка поморщился:

— Да... по ужасу... по леденящему ужасу...

— Ах, какая прелесть! — воскликнула одна из дам.

Дуглас не обратил на нее внимания; он смотрел на меня, но так, словно видел не меня, а то, о чем сейчас говорил.

— По сверхъестественной жуте, по страданию и по мукам.

— Ну, хорошо, — сказал я, — если так, садитесь и начинайте свой рассказ.

Он снова стал лицом к камину и, толкнув ногою полено, с минуту глядел в огонь. Потом обратился к нам:

— Начать так сразу я не могу. Придется посылать в город.

Все единодушно запротестовали; посыпался град упреков, и тогда Дуглас, видимо, поглощенный своими мыслями, объяснил нам:

— Все это записано, а рукопись заперта в столе, и уже много лет к ней никто

не прикасался. Надо написать моему доверенному и послать ему ключ: он достанет пакет и пришлет сюда.

Казалось, ко мне в особенности он обращался с этими словами, словно умоляя оказать ему помощь в его колебаниях. Он разбил лед, нараставший в течение многих зим; очевидно, у него были свои причины молчать так долго. Остальным не хотелось откладывать чтение, но меня пленили именно его колебания. Я уговорил Дугласа послать письмо с первой же почтой и прочесть нам рассказ как можно скорее. Потом я спросил его, не из личного ли опыта взял он такой случай. На что он немедленно ответил:

— О нет, слава богу, нет!

— Но рассказ ваш? Это вы его написали?

— Мое тут только впечатление. Оно заключено вот здесь. — И он прижал руку к груди. — Я не в силах его забыть.

— Так, значит, ваш манускрипт...

— Написан старыми, выцветшими чернилами и самым изящным почерком. — Он снова помедлил. — Женским почерком. Прошло уже двадцать лет, как она умерла. А перед смертью прислала мне эту рукопись.

Теперь все слушали Дугласа, и, разумеется, нашелся среди нас некий остроумец, охотник отпускать шуточки или, по крайней мере, делать намеки. Дуглас принял намеки без улыбки, однако и без раздражения.

— Это была очаровательная особа, но старше меня десятью годами. Губернантка моей сестры, — спокойно ответил он. — Самая прелестная из женщин ее профессии, она была бы достойна самого высокого положения в обществе. Все это дело давнее, а эпизод, ею описанный, происходил еще того раньше. Я учился тогда в Оксфорде, в Тринити-колледже, и застал ее у нас в доме, приехав на летние каникулы. В тот год стояло прекрасное лето, я редко уезжал из дому, и в ее свободные часы мы гуляли в парке и беседовали — меня поражал ее незаурядный ум и утонченность. Да-да, не ухмыляйтесь: мне она чрезвычайно нравилась, и я до сих пор счастлив тем, что и я тоже нравился ей. Если б этого не было, она бы мне ничего не рассказала. Никому другому она ничего не рассказывала. Я это знал не только от нее, но чувствовал и сам. Уверен, что она не говорила больше никому — это было ясно. Вы и сами в этом убедитесь, когда я прочту вам ее рассказ.

— Потому, что эта история такая жуткая?

Он пристально смотрел на меня.

— Вы сами в этом убедитесь, — повторил он, — вы это поймете.

Я смотрел на него так же пристально.

— Понимаю. Она была влюблена?

Тут он впервые улыбнулся.

— Вы очень проницательны. Да, она влюбилась. То есть еще до этого. Ее тайну раскрыли; ей невозможно было рассказывать без того, чтобы ее влюбленность не стала явной. Я ее понял, и она это видела, но мы с ней не сказали об этом ни слова. Помню и время и место: угол лужайки, тень от буков и долгий, жаркий летний день. Место действия не внушало никакого страха, и все же!..

Он отошел от камина и снова уселся в кресло.

— Вы получите пакет в четверг утром? — спросил я.

— Я думаю, не раньше чем со второй почтой.

— Отлично, тогда после обеда.

— Все мы соберемся здесь? — И он снова обвел нас взглядом. — Никто не уезжает? — В его тоне сквозила надежда.

— Мы все останемся!

— Я останусь!.. И я тоже останусь! — воскликнули те дамы, чей отъезд был уже назначен. Миссис Гриффин, однако, выразила желание узнать несколько больше.

— В кого же она была влюблена?

— Вы это узнаете из рассказа, — поспешил ответить я.

— Но я его не дождусь!

— Из рассказа этого нельзя будет узнать, то есть в буквальном, грубом смысле слова, — сказал Дуглас.

— Тогда тем более жаль. Мне только такой смысл и доступен.

— Дуглас, быть может, вы нам объясните? — попросил кто-то другой.

Дуглас вскочил с кресла.

— Да, завтра. А сейчас я иду спать. Спокойной ночи! — И, захватив свой подсвечник, он быстро удалился, оставив нас в легком недоумении. Из нашего угла в большом, темном холле нам слышны были его шаги по лестнице.

Потом заговорила миссис Гриффин:

— Ну что ж, если я не знаю, в кого она была влюблена, зато знаю, в кого был влюблен Дуглас.

— Но ведь она была на десять лет старше, — заметил ее муж.

— В этом возрасте — *raison de plus*! Но как это мило, что он так долго молчал!

— Сорок лет, — заметил Гриффин.

— И наконец такая вспышка!

— Эта вспышка даст замечательный эффект в четверг вечером, — возразил я, и все остальные согласились со мной, — в ожидании четверга мы ничем более уже не интересовались. Была рассказана еще одна малоувлекательная история, похожая на первую главу романа с продолжением, и все мы, распростившись на ночь и захватив свои подсвечники, отправились спать.

Наутро я узнал, что письмо и ключ уже отправлены на лондонскую квартиру Дугласа с первой почтой. Однако, вопреки этому быстро распространившемуся известию, а быть может и благодаря ему, мы не стали докучать Дугласу до после обеда — до вечернего часа, который более всего соответствовал тем эмоциям, которые мы предвкушали и на которых сосредоточивались наши надежды. И тут он стал до такой степени разговорчивым, что большего нельзя было желать, и даже объяснил нам почему. Мы снова слушали его, собравшись у камина в холле, как и вчера вечером, и испытывая приятное волнение. Оказалось, что повесть, которую он обещал нам прочесть, для полного понимания действительно нуждалась в кратком прологе. Да будет мне позволено сказать прямо, чтобы покончить с этим раз и навсегда, что эта повесть, то есть точная копия с нее, сделанная мною спустя много лет, есть та самая, которая следует ниже. Бедный Дуглас перед своей смертью — когда эта смерть была уже близка — передал мне рукопись. А тогда он получил ее с почты на третий день и начал читать нашему притихшему кружку на четвертый день вечером, в том же самом холле и с огромным успехом. Дамы, которые собирались уехать, но говорили, что останутся, разумеется, не остались. Как было решено ранее, они уехали, по их словам, сгорая от любопыт-

ства, вызванного тем немногим, чем он уже успел раззадорить нас. Но маленький кружок его слушателей после этого только сплотился теснее, стал более избранным, объединив нас у камина в общем трепете.

Прежде всего мы узнали, что рукопись продолжает устный рассказ с того места, которое в известном смысле может считаться началом всей истории. Самое важное заключалось в том, что эта знакомая Дугласа, младшая дочь бедного сельского пастора, девушка двадцати лет, в страшном волнении приехала в Лондон, оставив свое первое место учительницы в школе, чтобы лично ответить на объявление, с автором которого она заранее списалась. Для окончательного решения вопроса она явилась в дом на Гарлей-стрит,² который оказался громадным и внушительным, и там познакомилась со своим будущим патроном. Это был джентльмен в цвете лет, холостяк и истинный денди, словом, такая фигура, какую растерянная и взволнованная девушка из гэмпширского пастората могла увидеть разве только во сне или в старинном романе. Этот тип легко поддается зарисовке: слава богу, он у нас никогда не переводится. Джентльмен был очень красив, держался уверенно и свободно, был любезен и благожелателен. Он поразил ее своей галантностью и великолепием — это было неизбежно, но более всего ее пленило, а впоследствии очень помогло и придало ей мужества то, что он представил ей все дело чем-то вроде одолжения и милости с ее стороны, которые он готов принять с благодарностью. Она поняла, что он богат, но страшно расточителен, увидела его во всем блеске красоты, светскости, дорого стоящих привычек, очаровательных манер в обращении с женщинами. Его городской резиденцией был этот громадный особняк, набитый сувенирами путешествий и охотничьими трофеями; но он выразил желание, чтобы девушка немедленно отправилась в его загородный дом, старинную усадьбу его семьи в Эссексе.

После смерти их родителей в Индии ему пришлось сделаться опекуном двоих малолетних племянников, сына и дочери его младшего брата-офицера, которого он потерял два года тому назад. Эти двое детей стали тяжелой обузой для человека его положения, одинокого холостяка без необходимого в таких случаях опыта и без капли терпения. Ему было нелегко, и он, несомненно, совершил целый ряд ошибок, однако, всей душой жалея бедных племянников, он сделал для них все, что мог, главное же — отправил их в свой второй дом, ибо детям, разумеется, больше подходила сельская местность, и поселил там с самыми лучшими людьми, каких только мог найти, пожертвовав даже личными своими слугами, и сам навещался к детям, когда мог, посмотреть, как им живется. Трудность заключалась в том, что у них не было других родственников, а у него все время уходило на личные дела. Он отдал им во владение усадьбу Блай, место тихое и здоровое, поставив во главе маленького хозяйства, ограничивавшегося, правда, одним только нижним этажом, миссис Гроуз, превосходную женщину, которая, как он был уверен, должна понравиться его госте; а прежде она была горничной его матери. Теперь она стала экономкой, временно присматривает за девочкой и, не имея собственных детей, очень ее любит. Там много и другой прислуги, но, разумеется, верховная власть будет принадлежать молодой особе, которая поедет туда гувернанткой. На каникулах ей придется смотреть и за мальчиком, которого отдали на один семестр в школу, хотя это и рано, однако что же еще можно было сделать? — он должен со дня на день вернуться домой, ибо каникулы уже начинаются. Вначале обоих детей вела молодая женщина, которую

они имели несчастье потерять. Она прекрасно справлялась с обоими до самой своей смерти. Это была в высшей степени respectable особа, — а после этого крайне прискорбного события не оставалось ничего другого, как отдать Майлса в школу. С тех пор миссис Гроуз присматривает как умеет за Флорой — по части манер и всего прочего, а кроме нее, в доме есть кухарка, горничная, скотница, старый пони, старый конюх и старый садовник — все публика весьма почтенная.

Когда Дуглас довел свое вступление до этого места, кто-то задал ему вопрос:

— А отчего же умерла прежняя гувернантка, не от избытка ли respectable-ности?

Наш друг ответил, нимало не медля:

— Это вы узнаете в свое время. Я ничего не предвосхищаю.

— Простите, мне подумалось, что вы именно предвосхищаете.

— На месте ее преемницы я бы полюбопытствовал, не в самой ли должности таилась... — предположил я.

— Неизбежная опасность для жизни? — закончил Дуглас мою мысль. — Она пожелала это узнать — и узнала. Что именно она узнала, вы услышите завтра. А в то время будущее представлялось ей довольно мрачным. Она была молода, неопытна, нервна; воображение рисовало ей трудные обязанности, полное отсутствие общества, одиночество, поистине беспредельное. Она заколебалась — попросила два дня отсрочки, чтобы подумать и посоветоваться. Однако предложенная плата намного превышала ее скромную мерку, и при втором свидании она решилась, она приняла предложенное место. — И тут Дуглас сделал паузу, которая позволила мне вставить, в интересах всего общества:

— Мораль, конечно, такова, что великолепный молодой человек пустил в ход обольщение. И она не устояла.

Дуглас поднялся с места и, так же, как вчера вечером, подойдя к камину, толкнул ногой полено и с минуту постоял спиной к нам.

— Она виделась с ним всего два раза.

— Да, но в этом-то и была вся прелесть ее увлечения!

И тут Дуглас, несколько удивив меня, повернулся ко мне.

— Да, в этом-то и была вся прелесть. Нашлись и другие, которые перед ним устояли, — продолжал Дуглас. — Милорд откровенно рассказал ей о главном препятствии: для нескольких кандидаток его условия оказались неприемлемыми. Они почему-то просто боялись. Для них это звучало странно, было непонятно, и больше всего из-за главного условия.

— Которое заключалось?...

— В том, что она никогда, ни под каким видом не должна беспокоить милорда: ни о чем не просить; не жаловаться, ни в коем случае не писать ему — решать все вопросы самостоятельно, получать все деньги от его поверенного, взять на себя все, а его оставить в покое. Она обещала все это и потом призналась мне, что, когда он ощутил себя наконец-то свободным, то, вне себя от радости, на минуту задержал ее руку в своей, благодаря ее за эту жертву, и она почувствовала себя так, словно уже получила награду.

— Но разве только это было ее наградой? — спросила одна из дам.

— Больше она никогда его не видела.

— О! — воскликнула дама; и так как наш друг немедленно покинул нас, то

это и было единственным словом, относившимся к теме нашей беседы, до тех пор, пока на следующий вечер, в том же углу перед камином, он, сидя в самом удобном кресле, не развернул перед нами тоненький старомодный альбом с золотым обрезом, в выцветшем красном переплете. Чтение заняло не один вечер, а несколько, и в первый вечер та же дама задала еще один вопрос:

— Какое у вас заглавие?

— У меня нет заглавия.

— Зато у меня оно есть, — сказал я.

Но Дуглас, не слушая меня, уже начал читать с той прекрасной ясностью дикции, которая словно передавала слуху изящество авторского почерка.

I

Я вспоминаю все начало этой истории как ряд взлетов и падений, как легкое качание между верным и ошибочным. В Лондоне, согласившись на его предложение, я провела, во всяком случае, два очень тяжких дня — то впадая в сомнение, то уверяясь, что я действительно совершила ошибку. В таком состоянии духа я провела и долгие часы в тряском почтовом дилижансе, который довез меня до станции, где меня должна была встретить коляска из имения. Как мне сообщили, экипаж был уже выслан, и к концу июньского дня я увидела поджидавшую меня удобную коляску. Проезжая в вечерний час в этот чудесный день по таким местам, где вся прелесть лета, казалось, дружески приветствовала меня, я снова воспрянула духом и, как только мы свернули в аллею, вздохнула с облегчением, что было, вероятно, лишним доказательством того, как сильно я приуныла. Мне кажется, я ожидала или боялась встретить нечто крайне мрачное, и то, что открылось передо мною, было радостной неожиданностью. Я вспоминаю, как самое приятное впечатление, широкий, светлый фасад, открытые окна, новые занавеси и двух горничных, выглядывавших из окон; я вспоминаю лужайку с яркими цветами, хруст колес по гравию и сомкнувшиеся кроны деревьев, над которыми в золотистом небе с криком кружились грачи. Картина была величественная, чем она сильно отличалась от скудости моего родного дома, — и почти в ту же минуту, держа за руку маленькую девочку, в дверях показалась солидная особа, присевшая передо мною так почтительно, словно я была сама хозяйка дома или знатная гостья. На Гарлей-стрит я получила далеко не столь выгодное представление об усадьбе, и тут, сколько помнится, ее владелец еще более возвысился в моих глазах, и я подумала, что мое будущее намного превосходит все его обещания.

В тот день я больше не испытывала уныния, ибо в течение следующих часов меня захватило и увлекло знакомство с младшей моей воспитанницей. Девочка, сопровождавшая миссис Гроуз, с первого взгляда показалась мне таким очаровательным существом, что иметь с ней дело представлялось мне великим счастьем. Мне никогда еще не доводилось видеть ребенка красивее, и впоследствии я удивлялась, почему мой патрон не рассказал мне о ней побольше. Я плохо спала в ту ночь, — я была слишком взволнована; и это радостное волнение удивляло меня и, как я вспоминаю, неотступно владело мною, усиливая впечатление от щедрости и великодушия, с какими я была встречена. Большая, внушительная комната, одна из лучших в доме, широкая парадная кровать, узорные драпировки, высокие зеркала, где впервые в жизни я могла видеть себя с ног до головы, — все это поражало меня, так же как и необычайная прелесть моей маленькой воспитанницы, так же как и все то, с чем мне впервые пришлось столкнуться.

С первой же минуты мне пришлось столкнуться с мыслью о том, как сложатся мои отношения с миссис Гроуз, с мыслью, которая, боюсь, угнетала меня еще дорогой, в почтовой карете. Единственное, что при первых наблюдениях могло заставить меня держаться настороже, было то обстоятельство, что миссис Гроуз до крайности обрадовалась мне. Я в первые же полчаса это заметила: она до такой степени обрадовалась, — дородная, простодушная, некрасивая, опрятная,

здоровая женщина, — что даже остерегалась слишком проявлять свою радость. Тогда я даже слегка удивилась, для чего бы ей это скрывать, и вместе с раздумьем и подозрениями это могло, разумеется, встревожить меня.

Но для меня служило утешением, что ничто тревожное не могло быть связано с таким воплощением счастья, как сияющий облик моей девочки, ангельская красота которой, вероятно, более всего другого вызывала беспокойство, заставившее меня до утра несколько раз подниматься и бродить по комнате, пытаюсь осмыслить всю картину в настоящем и будущем; следить в открытое окно за слабыми проблесками рассвета, разглядывать те части дома, которые мне были видны в окно, и, по мере того как рассеивались тени и начинали щебетать первые птицы, прислушиваться, не повторится ли тот или иной звук, менее естественный, который мне почудился, не вне дома, а внутри. Была минута, когда мне показалось, будто я услышала далекий и слабый детский крик; была и другая, когда я уже наяву, с полным сознанием, вздрогнула, заслышав легкие шаги в коридоре, перед моей дверью. Но все эти фантазии были слишком зыбки и потому сразу отвергнуты и отброшены мною, и только в свете или, лучше сказать, во мраке иных последующих событий они вспоминаются мне теперь. Смотреть за маленькой Флорой, учить, «формировать», воспитывать ее слишком очевидно могло сделать мою жизнь счастливой и содержательной. В покоях нижнего этажа между нами было условлено, что после первой ночи она, разумеется, будет спать со мной в моей комнате, и ее маленькую белую кроватку перенесли ко мне в спальню. Вся забота о Флоре отныне переходила ко мне, и только на этот последний раз она осталась с миссис Гроуз единственно потому, что мы приняли во внимание то, что я, несомненно, чужая Флоре, и подумали о природной робости девочки. Вопреки этой ее робости, в которой она призналась мне и миссис Гроуз откровенно и храбро, без всякого смущения и неловкости, с глубокой и ясной кротостью рафаэлевского Младенца, позволяя нам судить ее поступки и выносить решения, — вопреки всему этому я предчувствовала, что она скоро полюбит меня.

Вот почему я успела привязаться и к самой миссис Гроуз — я видела, как радуется ей то, что я люблю и восхищаюсь моей воспитанницей, сидя с ней за ужином при четырех высоких свечах, — а Флора, между этими свечами, в нагруднике, на высоком стуле, весело смотрит на меня из-за своей чашки с молоком и хлебом. Вполне естественно, о многих вещах мы могли говорить при Флоре только темными и окольными намеками, обмениваясь изумленными и радостными взглядами.

— А мальчик? Он похож на нее? Тоже такой необыкновенный?

Ребенку лстыть не станешь.

— Ах, мисс, очень даже необыкновенный. — И она остановилась с тарелкой в руках, просяив улыбкой на нашу маленькую подружку, а та переводила взгляд с нее на меня. — Если уж вам эта понравилась!

— Да, ну так что же?

— А в нашего маленького джентльмена вы прямо влюбитесь!

— Мне кажется, для того я и приехала. Я ведь довольно легко увлекаюсь. В Лондоне я тоже увлеклась!

До сих пор я помню широкое лицо миссис Гроуз, когда она поняла, о чем я говорю.